

ОТВЕТ И. СЕРГИЕВСКОМУ и В. ДЕСНИЦКОМУ

Статья Д. Мирского

Моя статья «О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII в.» вызвала дискуссию в ИРЛИ Академии Наук и статьи И. Сергиевского и В. Десницкого. Материалы дискуссии остаются неопубликованными и поэтому мне придется их оставить в стороне. Замечу только, что хотя при обсуждении моей статьи и моего доклада некоторые из выступавших правильно указывали на отдельные ошибки, однако ни одного сколько-нибудь убедительного возражения против моей концепции в целом выдвинуто не было.

Что же касается до статей Сергиевского и Десницкого, то я должен с сожалением отметить, что оба мои оппонента в ряде случаев не точно передают мои слова, а иногда приписывают мне утверждения, которых в моей статье нет. Сергиевский например приписывает мне утверждение, «что Европа XVIII в. была страной уже вполне буржуазной». Не говоря о том, что я Европу «страной» никогда не называл, я на самом деле говорил, что в XVIII в. «Европа была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазной». Сергиевский имел право меня не понять, он имел право найти мою формулировку неясной, но он не имел права молчаливо выбрасывать из нее ее существеннейшую часть. В другом месте Сергиевский утверждает, что, «говоря о буржуазно-демократической оппозиции в русской литературе XVIII в.», я называю «одного только Радищева», тогда как на самом деле в инкриминируемом месте я называю кроме Радищева, Новикова и Крылова. Опять-таки Сергиевский имел право оспаривать мое сближение Новикова и Крылова с Радищевым, но утверждение, что я называю «одного только» Радищева, есть утверждение ложное.

Десницкий цитирует фразы из разных мест моей статьи и ставит их в произвольную связь. Так он приписывает мне утверждение, что русское искусство XVIII в. было основано на заданной традиционной форме, тесно связанной с условным традиционным содержанием, и что поэтому («посему», как с тонкой иронией пишет Десницкий) в специфической области искусства «создавалась возможность явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с Ренессансом» хотя я и говорю об этой «возможности» совершенно в иной связи и обосновываю ее совершенно другими соображениями.

Положительное значение статьи Десницкого в том, что он молчаливо отказывается от худшей стороны концепции, развернутой им во вступительной статье к «Иронико-комической поэме». В новой статье нет ни безоговорочного отождествления развития производства на вывоз с развитием капитализма, ни лирических восторгов перед крепостной промышленностью, доходящих до утверждения, что «в развитии уральской промышленности XVIII в.» были даны предвестия «того места» (что значит «предвестия места?»), на который поднимает Урал советская власть, ни упорного стремления уравнивать «торгово-промышленную буржуазию» с крестьянством как врагов дворянства. Ни слова об отказе от всего этого в новой статье нет, но уже отсутствие всех этих нелепостей есть некоторый шаг вперед. Но с их исчезновением улетучилась и вся концепция Десницкого. В новой статье нет никакой концепции и поэтому спорить с ней нельзя. Как спорить с автором, который, чтобы обосновать то положение, что капиталистическая

промышленность играла значительную роль в XVIII в., нагромождает целые страницы цитат, доказывающих ее быстрый рост в первой половине XIX в.? Если он думает, что этим материалом он опровергает меня, я могу только заметить, что я указываю именно на последнее десятилетие XVIII в. как на время перелома, с которого начинается ускоренное развитие предпосылок капитализма.

Вообще, несколько раз обвиняя меня в неконкретном подходе к эпохе, Десницкий сам проявляет чудовищное отсутствие конкретности. Весь период крепостничества до 1861 г. сливается у него в одно. Говоря о борьбе классов в XVIII в., он цитирует как относящиеся сюда слова Ленина о последних десятилетиях перед крестьянской реформой. Для характеристики отношения русского сельского духовенства к помещикам он цитирует украинские стихи об украинских отношениях, повидимому даже не заметив, что стихи написаны по-украински. Издеваясь над моим марксизмом, который ему кажется «оригинальным» и «веселым», сам Десницкий дает меру своего понимания марксизма в том «объяснении», которое он находит дворянскому вольнодумству XVIII в. Оказывается, что это вольнодумство было следствием вражды дворянства к сельскому духовенству, которое он представляет чуть ли не как идеологический авангард революционного крестьянства, при чем на помощь призывается даже духовное происхождение Чернышевского и Добролюбова. Правда, прямо утверждать такую нелепость и прямо предлагать такое объяснение Десницкий не решает, но весь пятый раздел его статьи явным образом приглашает читателя сделать такие выводы.

Кроме передержки и нагромождения цитат не по существу единственное орудие полемки, которым он пользуется, — «убийственная» ирония. Найдя в моей статье ряд положений, которые ему самому никогда не приходили в голову, он считает достаточным их просто цитировать, снабдив соответствующими ужимками, чтобы меня «убить». Он пишет например: «Д. Мирский знает, что в допетровской России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности... Он знает тоже, что Киевской Русью «византийская художественная литература не была воспринята вовсе»... Десницкий этого не знает; что ж, это факт его биографии, за который я не отвечаю. Но для человека, претендующего на звание литературоведа, не знать таких вещей довольно стыдно.

Статья Сергиевского посвящена нахождению в моей статье «путаницы» и «недомыслия». При помощи того приема неточных цитат, которым к сожалению пользуется Сергиевский, можно найти у меня какую угодно путаницу. Все рассуждение Сергиевского о «грубой ошибке», которую я совершаю, «утверждая, что Европа XVIII в. была страной (!) уже вполне буржуазной», висит на такой неточной цитате. Я допускаю, что Сергиевский мог не понять, что значит «в живой и жизнеспособной своей части» (конечно это для него не оправдание — не поняв фразы, он должен был на ней тем более критически остановиться) и что это выражение недостаточно конкретно. В моем докладе в ИРАИ я развернул и конкретизировал это положение. Поскольку этот доклад остается неопубликован, я вкратце повторяю, что я тогда говорил.

В Западной Европе в XVIII в. рост производительных сил происходил уже исключительно на основе буржуазного способа производства. Феодализм был еще силен и политически (кроме Англии) был господствующей силой. Но экономически он был уже бесплоден. В России, наоборот, крепостничество в течение всего XVIII в. экономически усиливалось. Феодальный способ производства рос экстенсивно, распространяясь на новые территории и на новые отрасли хозяйства (промышленность), и интенсивно, безмерно усиливая барщинную эксплуатацию крестьян. Причиной этого была не только отсталость страны в сравнении с Западом, но и главным образом те исключительные возможности территориальной экспансии, которые Ленин считал моментом, в огромной мере задерживающим развитие капитализма и ликвидацию господства феодализма на всех этапах истории царской России. Русский феодализм «учился» у Запада, заимствуя у него не столько технику, сколько техников. Но в течение долгого времени все буржуазного происхождения заимствования шли на службу крепостничеству и укрепляли его экономические позиции. Все это создавало отношения в достаточной степени «самобытные» — эпитет, примененный Лениным к наиболее характерному проявлению этой

фазы русского феодализма — крепостной промышленности. Конечно в этом запоздалом «расцвете» феодализма были заложены противоречия, неизбежно приведшие его в тупик (из экономических процессов, которые вели в этот тупик, одним из главных был рост оброчной эксплуатации крестьянства в центральных районах, протекавший одновременно с ростом барщины в районах черноземных и льноводческих). Но перелом наметился только на рубеже XVIII и XIX в. Еще в 80-х годах купцы, не добившись крепостных рабочих, закрывали заводы (олоонецкая металлургия). В 90-х же годах начинается рост — незначительный сперва по абсолютным цифрам — вольнонаемного фабричного труда. В 1810-х годах барщинное хозяйство, уже зашедшее в тупик, начинает пытаться перестроиться в капиталистическом направлении. Эпоха феодальной экономической экспансии кончена. Дальнейшее экономическое развитие становится возможно только на капиталистических путях, и Россия «в живой и жизнеспособной своей части» становится столь же буржуазной, как Западная Европа.

Сергиевский пишет, что «элементы капиталистического развития, хотя и в весьма неразвернутом виде, были и в XVIII в.». Конечно были. «Неразвернутые элементы капитализма» появляются очень рано в человеческой истории. Вольнонаемная мануфактура существовала и в Вавилоне при царе Хаммураби, и в рабовладельческих Афинах, и в ранне-феодальной империи Карла Великого. На этом основании буржуазные историки вроде Дюпона пытаются доказать, что «капитализм существовал всегда» и является не исторической категорией, а свойством человеческой природы. Для того чтобы говорить об этих элементах как зародышах капитализма, надо, чтобы эти элементы развивались. А в XVIII в. элементы капитализма были не только в «неразвернутом», но и в неразвертывающемся виде. В этом все дело. «Буржуазия» же, лишь в совершенно ничтожной своей части промышленная, вела трудную оборонительную (и совершенно лояльную) борьбу против феодального дворянства. Борьба эта была более сословная, чем классовая. Среди основных домогательств купечества было стремление сохранить право на крепостной труд и всячески препятствовать торговой конкуренции крестьян, которой покровительствовали помещики, взимавшие с нее жирные оброки.

Что же касается до «европеизации» крепостнического дворянства, я никогда не утверждал, что она была «наносной». Для его «европеизации» были основания в самой природе русского феодализма XVIII в. Это был феодализм своеобразный в том отношении, что он не опирался на традицию и обычное право, а наступал, разрушая традиционные формы жизни, феодализм расширяющийся, которого консервативная традиция стесняла. Отсюда же его — впрочем весьма относительное — вольнодумство.

Европейские идеологии, акклиматизируясь в России, получали иной смысл. Технически крепостная мануфактура была сходна с капиталистической, но социально это было совершенно инородное явление. Также и русское дворянское вольтерьянство при всем внешнем сходстве с французским (даже с дворянским французским) было по существу нечто совершенно иное.

Из других «недомыслий», которые у меня находит Сергиевский, остановлюсь на трех. Во-первых, ему очень не нравится мое положение, что борьба внутри дворянского лагеря была прежде всего борьбой клик без всяких принципиально-классовых разногласий. Экономическая подоплека в этой борьбе конечно была, но весьма специфического характера: одну клику (напр. Екатерину до ее царствования) субсидировали англичане, другую, скажем, австрийцы. Когда одна клика приходила к власти, ее члены получали населенные имения, а у побежденной клики населенные имения отнимались. Борьба клик в феодальном государстве играет ту же роль, что коммерческая конкуренция в буржуазном. Когда в США две компании строили две параллельные ж.-д. линии из Балтимора в Цинцинати, они боролись между собой не менее ожесточенно, чем Орловы с Петром III. Но это не значит, что эти две компании были экономически разнородные группы. Конечно и в XVIII в. была и принципиальная борьба за разные пути развития крепостной империи. Так борьба шляхетства с верховниками была принципиальная политическая борьба.

«Монаршическая» оппозиция Щербатова диктатуре Потемкина была тоже принципиальной борьбой. Но борьбой не социальной и не экономической, а чисто администра-

тивно-политической. Сергиевский приписывает мне стремление свести всю внутриворядную борьбу к борьбе между дворянами умными и глупыми. Очевидно Сергиевский считает, что все дворяне были одинаково умны, и притом так умны, что все от природы понимали лучший способ обеспечить свои классовые интересы. Он очевидно представляет себе, что политика возникает сама собой, как Паллада из головы Зевса, и что каждому интересу каждой группы и прослойки соответствует одна единственная и совершенно очевидная политика. Представление довольно наивное. Всякая политика выковывается в борьбе, в борьбе между течениями, представляющими те же интересы, но раз но оценивающие пути их достижения. Там, где классовая борьба сложна и где между основными борющимися классами имеются многочисленные политически активные промежуточные прослойки, или где часть революционного класса находится под влиянием классово чуждых элементов (социал-фашисты), борьба внутри господствующего класса за ту или другую политику сводится в значительной степени к борьбе за тот или иной способ маневрирования господствующего класса между промежуточными группами за тот или другой вид демагогии. Но одни и те же группы, одни и те же заправилы монополистического капитала будут сегодня заигрывать с социал-фашизмом, а завтра пользоваться фашистами. Группы социально совершенно тождественные, но персонально разные могут это делать одновременно. В России XVIII в. не было политически активных прослоек между крепостниками и крестьянством (только в колониях были подобные прослойки). Поэтому борьба за выбор политики не принимала формы маневрирования, а чисто внутреннего спора об административно-политической организации. Вопрос шел о том, как согласовать максимальную «вольность» дворянства с прочной системой подавления масс. Позиция Щербатова была по существу утопическая, так как он игнорировал реальную угрозу крестьянской революции. С точки зрения интересов своего класса он был глупым, а Потемкин и Екатерина умными. Но утопичность его позиции позволяла ему с некоторой смелостью критиковать своих противников, реальных руководителей класса, и поэтому его публицистика с нашей статьею не оговорила, в каком именно смысле я употребляю этот термин. Сергиевского обо всем этом деле весьма туманные представления. Цитаделью всякого фронтдерства ему кажется «придворная знать». Мы привыкли думать, что именно придворная знать управляла страной. Мелкое и среднее дворянство, по Сергиевскому, было постоянной опорой самодержавия против происков «придворной знати». А кто же были ярославские дворяне, избравшие Щербатова в Комиссию? Или маршал комиссии Бибиков, всячески саботировавший ее работу, был представителем «мелкого и среднего дворянства», а уездные депутаты были ставленники «придворной знати»?

Второе замечание — о реализме. У нас все еще употребляют этот термин в двух смыслах — в смысле «верности изображения деталей» (реалистическая манера) и в смысле изображения «действительности в ее революционном развитии». Я виноват, что в моей статье не оговорил, в каком именно смысле я употребляю этот термин. Сергиевский же сам не знает, в каком смысле его употребляет. Сначала он говорит, что «самый факт реалистичности, обращенности к жизненной действительности... имел определенное революционирующее значение». Из контекста ясно, что «обращенность к действительности», противопоставляемая «идеалистическому, абстрактному» искусству классицизма, означает именно то, что Энгельс называл «верность деталей». Но несколькими строчками раньше Сергиевский говорит, что «подлинно реалистично искусство, не просто тяготеющее к реально-бытовому материалу, а искусство исторически правдивое, верное жизненному процессу». Т. е., иначе сказать, простая «обращенность» к действительности еще не есть реализм. Тут элементарная логическая ошибка *quatermio termimorum*. Может быть Сергиевский думает, что совершение ошибок против элементарной логики — необходимое условие диалектического мышления? По существу вопроса надо заметить следующее: реалистическая литература XVIII в., о которой идет речь, может называться реалистической только в первом смысле, в смысле «верности деталей», «простого тяготения к реально-бытовому материалу». В высшем «балзаковском» смысле она не реалистична. Несмотря на это, она при прочих равных условиях значительно ценней «абстрактного искусства классицизма», так как имеет больше познавательной

ценности, хотя и ограниченной отсутствием подлинного понимания того, что Сергиевский называет «жизненным процессом». К этому надо прибавить, что эта реалистическая литература остается в пределах «искусства классицизма», к «низшим» жанрам которого она принадлежит; основное в классицизме — его «сословно-жанровая иерархия», при которой реальные люди-плебей (и даже мелкие дворяне) могут быть изображаемы только в низших родах и только комически или сатирически.

Наконец последнее, более частное замечание. Сергиевский называет «беспредметным» мое положение о разрыве литературной традиции между XVIII и XIX в. Чтобы опровергнуть мою мысль, ему кажется «достаточным» указать «на витийственную, прямо опирающуюся на философскую оду Державина лирику поэтов-любомудров типа Шевырева или Хомякова». Утверждать связь Шевырева, а тем более Хомякова с Державиным можно только если считать, что всякая «витийственная» поэзия восходит к Державину, а утверждать это можно только если упрямо ограничивать свой кругозор одной русской литературой. Поэзия любомудров развивалась под очень сильным иностранным влиянием. На нее имела большое влияние лирика Шиллера и его немецких современников, тоже витийственная и гораздо более философская, чем державинская; лично Шевырев воспринял сильнейшие итальянские влияния, особенно влияние «витийственных» поэтов XVII в. (Кьябрера, Филикайя); Хомяков прежде всего ученик французских романтиков и «преромантиков» (Делавинь, ранний Гюго). Кроме того Хомяков очень близок к Бенедиктову, т. е. принадлежит к тому «декадентскому» течению, которое органически развивалось из распада пушкинской системы.

Я вполне признаю, что моя статья, даже дополненная моим докладом в ИРЛИ, не дает развернутого обоснования всех выдвинутых мной положений. Такое развернутое обоснование я постараюсь дать, если обстоятельства позволят, в близком будущем. В этой заметке, вызванной двумя не слишком серьезными полемическими статьями, давать такое обоснование было бы неуместно. Дать его мне придется уже не в полемической форме по той простой причине, что ни одного серьезного возражения против моих положений до сих пор выдвинуто не было.

Справедливость требует прибавить, что в статье Сергиевского есть одно правильное замечание: Герцена действительно нельзя было безоговорочно называть либералом. Либерализм, как показал Ленин, был переходящей фазой в его деятельности, снятой его революционно-демократической работой после 1862 г.